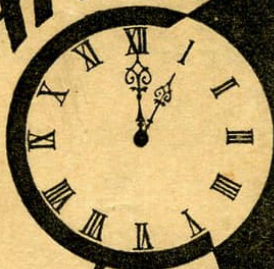


ЧАСЫ!



1



П Е Т Е Р Б У Р Г

1 9 2 2

Николаю Михайловичу Сиреленикову
с уважением и, сильно надеясь,
с дружбой. Б. Папаригопуло

ЧАСЫ 3 1/2 п. 21 г.

1

ЧАС ПЕРВЫЙ

В. ХЛЕБНИКОВ, М. КУЗМИН,
И. ЭВЕРТ, ЮР. ЮРКУН, АННА
РАДЛОВА, Б. ПАПАРИГОПУЛО,
В. ШКЛОВСКИЙ

Обложка работы В. Милошевского

ПЕТЕРБУРГ

1922



ВАМ.

Могилы вольности Каргебиль и Гуниб
Были соразделителями со мной единых
зрелищ,
И, за столом присутствуя, они-б
Мне не воскликнули-б: что, что,
товарищ, мелешь?
Боец, боровшийся, не поборов чуму,
Пал около дороги круторогий бык,
Чтобы не вопрошающих — к чему?
Узнать дух с радостью владык.
Когда наших коней то бег, то рысь
вспугнули их,
Пару рассеянно-гордых орлов,
Ветер неосязуемый для нас и тих
Вздымал их царственно на гордый лов.
Вселенной повинуюся указу,



Вздыхался гор ряд долгий.
Я путешествовал по Кавказу
И думал о далекой Волге.
Конь, закинув резво шею,
Скакал по легкой складке бездны.
С ужасом в борьбе невольной хорошея,
Я думал, что заниматься числами над
бездной полезно.

Невольню числа я слагал,
Как-бы возвратясь ко дням творенья,
И вычислял, когда последний галл
Умрет, не получив удовлетворенья.
Далеко в пропасти шумит река
К ней бело-красные просыпались мела.
Я думал о природе, что дика,
И страшной прелестью мила.
Я думал о России, которая сменой
тундр, тайги, степей
Похожа на один божественно-звучащий
стих

И в это время воздух освободился
от цепей,

И смолк, погас и стих.

И вдруг на веселой площадке,



Которая на городскую торговку цветами
похожа,
Зная, как городские люди к цвету
падки,
Весело предлагала цвет свой прохожим,
Увидел я камень, камню подобный, под
коим пророк
Похоронен-скошен он над плитой и
увенчан чалмой.
И мощи старинной раковины—изогнуты
в козлиный рог
На камне выступали; казалось образ
бога камень увенчал мой.
Среди гольцов, на одинокой поляне,
Где дикий жертвенник дикому богу
готов,
Я как-бы присутствовал на моляне
Священному камню священных цветов.
Свершался предо мной таинственный
обряд.

Склоняли голову цветы.
Закат был пламенем об'ят
С раздумьем вечером свиты...
Какой, какой тысячекост,



Грознокрылат, полуморской,
Над морем островом под'емлет хвост,
Полунеземной об'ят тоской?
Тогда живая и быстроглазая ракушка
была его свидетель,
Ныне уже умерший, но как и раньше
зоркий камень.
Цветы обступили его как учителя дети,
Его — взиравшего веками.
И ныне он как с новгородичами
беседует о водяном.
И как Садко берет на руки ветхо-гусли
Теперь когда Кавказом моря ощеренным
дном
В нем жизни сны давно потускли.
Так среди «Записки Кушетки» и
«Нежный Иосиф»
«Подвиги Александра» ваяете
чудесными руками,
Как среди цветов колосьев
С рогом чудесным виден камень.
То было более чем случай:
Цветы молились, казалось, пред времен
давно прошедших слом:



О доле нежной, о доле лучшей:
Луга топтались их ослом.

* *
*

Здесь лег войною меч Искандров,
Здесь юноша загнал народы в медь,
Здесь истребил победителя леса ндрав
И уловил народы в сеть.

В. Хлебников.

16|ix 1909.



ТАЛЫЙ СЛЕД.

РОМАН.

ПЕРВАЯ ГЛАВА.

Дождь янтарной и прозрачной сеткой полился совершенно неожиданно из почти безоблачного неба. Казалось, что на Васильевском Острове должно быть еще солнце и даже пыль. Морская до змешного быстро опустела, только ресторанный мальчишка, остановившись среди торцов, смотрел вверх, удивляясь, откуда идет дождь. В под'ездах и под воротами весело сгучилась спасающаяся публика. Такой ливень располагал к разговорчивости и не предполагался про-



должительным. Было странно, что даже извозчики вдруг исчезли, только маленькая черная карета, блестящая от мокроты, с желтыми веселыми колесами, мчалась от Невского. Вдруг, не доезжая площади, соловая лошадка с шеколадными пятнами поскользнулась и упала. С козел сошли кучер и старик в ливрее, из под'езда выбежали любопытные. Пробовали поднять лошадь, выпрягли, лакей даже снял ливрею, оставшись в сером кургузом пиджаке и цилиндре с кокардой. Хлопотали неторопливо и опять как-то весело. Дождь переставал, солнце с Васильевского Острова вернулось, движение возобновилось так же быстро, как прервалось, торцы дымились по-весеннему тепло. Лошадь все лежала, тоже дымясь впалым, розовым боком. Толпа все прибывала. Дворник в овчинной шубе, несмотря на май, сонно толковал с городовым, записывавшим адрес дамы, которая терпеливо сидела в карете. Лошадь не вставала, ее прикрыли рогожей. Эки-



паж смешно стоял, как ненужная игрушка.

— Г-жа Камышлова?

— Да, да... Кажется, лошадь совсем пала?

— Так точно.

— Я не понимаю, зачем вам сведения...
Мой адрес: Мойка... Я не знаю...

Вышла высокая дама лет пятидесяти с маленьким круглым лицом, плотно наполовину затянутым ярко-лиловой вуалеткой. Старик ехал уже на извозчике, сняв цилиндр и отирая пот скомканным платочком.

— Не стоило хлопотать, Назар. Я дойду пешком. Отпустите извозчика. Барин будет очень жалеть о Розане: это была его любимая лошадь...

Дама вдруг оставовилась и опустила низ вуалетки на подкрашенные губы и подбородок. Она растерянно обвела глазами толпу любопытных, короче всего задержавшись на лице, которое ее смутило. Камышлова машинально снова под-



няла вуаль, пошла-было, но потом, словно овладев волнением, вернулась и прямо подошла к молодому еще человеку в солдатской шинели.

— Вы—Викентий Дмитриевич Дерюгин?

— Да, это я!—отвечал тот, не особенно смущаясь и смотря прямо в маленькое лицо дамы. Постояв в нерешительности, она тихо молвила:

— Пройдемте несколько шагов вместе!

Молодому человеку было лет под тридцать. Довольно правильное лицо его было не совсем приятно какою-то нервной кривизною и нездоровым, неровным цветом лица.

Дойдя до Исаакиевского сквера, дама остановилась и опять тихо сказала:

— Я ваша мать, Викентий Дмитриевич.

— Я знаю.

Опять пристальный взгляд и никакого смущенья. Камышлова неприятно растерялась.

— Чтож это, какой вздор!



Потом перебила самое себя, ласково беря Викентия за рукав:

— Отчего вы не придете?

— Я охотно приду, мама, если можно, и если вы этого хотите.

— Ну, конечно. Какой чудак!

Помолчав, она спросила нежно, но несколько официально:

— Как вы живете? Смешно: вы почти уже не молодой человек.

— Мне двадцать девять лет.

— Я помню, т.-е. знаю, — ответила Камышлова и нахмурилась.

— Вы адрес-то мой знаете?

— Знаю.

— Приходите завтра к обеду, и Анатолий будет дома. Ведь мы так давно не видались.

— Я ведь никогда не знал и до сих пор не знаю, почему вы, мама, меня так удалили, так выбросили тогда, двадцать лет тому назад.

Камышлова хмурилась все сильнее и вдруг спросила очень прямо даже на «ты»:



— Ты просто шел, или следил за мною?

— Я переждал дождь. Зачем мне следить за вами?

— Ты прав: никогда не следует делать бесполезных вещей.

Она рассмеялась, словно сама почувствовала фальшивость последней своей фразы, и кончила совсем светской улыбкой, такой неподходящей к серому солдату, да еще ее сыну.

Викентий посмотрел ей вслед. Серое платье молодило ее и без того стройную фигуру, и тонкая рука в перчатке легко и беспечально опиралась на светлый зонтик. Когда же она обернулась и помахала ему высоко рукою, ей можно было дать лет тридцать.

Именно такую помнилась она Викентию в тот самый день, с которого все и началось. Он, действительно, сразу узнал Марфу Михайловну, признал ее за мать, нисколько не следил за нею, а встретил случайно, как встречал не один



раз и раньше, и, действительно, они расстались как-то странно и для Дерюгина, по крайней мере, насильственно двадцать лет тому назад, когда он был девятилетним ребенком. Вообще Викентий Дмитриевич на все вопросы отвечал очень правдиво и точно. Марфа Михайловна приняла эту манеру разговаривать за несносную искусственность и по отношению к себе почти за вызов, потому нервничала и сердилась, но совершенно напрасно: Викентий всегда отвечал прямо и точно, с какой-то даже тупой добросовестностью, которая одним казалась наивностью, почти глупостью, другим—нестерпимой позой, но всем была неприятна и стеснительна. Пожалуй, и в своем отношении к происшествиям, настоящим и прошедшим Дерюгин был так же прям и как-то бесперспективен, не выводя предполагаемых последствий и не особенно заботясь о причинах, породивших то или иное явление. Воспоминания у него тоже были



конкретные и без всяких теней, и хотя он говорил матери, что не понимает, почему его, как он сам выразился, «выбросили» из дому, но, по правде, сказать, он всегда только чувствовал (и порою довольно горько), что он удален от матери, а вопрос, почему это так случилось, нисколько не тревожил его воображенья. Даже больше того: из событий он особенно запоминал их внешнюю сторону и потому не забывал ни лиц, ни обстановки, ни мест, которые видал хотя бы однажды. Он точно помнил квартиру своих родителей на Екатерининском канале, мебель, тюлевые занавески с пастушками, фикусы перед окнами и всегда блестяще натертый паркет. Помнил и лицо своего покойного отца, Дмитрия Павловича Дерюгина, всегда слегка печальное и скучающее. Мать ему запомнилась такою, какою он ее видел только-что, несколько минут тому назад: тридцатилетней, ласковой, немного холодной. Положим, в то утро



(как теперь помнит—10-го марта 1894 г.) у нее было совершенно другое лицо, испуганное и, вместе с тем, окаменелое, взволнованное до последней степени и какое-то неподвижное тою неподвижностью, которая страшнее всяких судорог.

Вика играл на подоконнике, расставляя кукольные квартиры. Уже жители одного окна собирались в гости на другое в огромных санках, хотя сами были разодеты в самые легкие платьица, сообразуясь больше с температурой детской в 17° (одна только комната и была теплою, во всех остальных мама любила поддерживать холодок, словно для того, чтобы гости не засиживались), чем с воображением Вики, как вдруг он услышал странный звук из папиного кабинета, будто хлопнули сильно форточкой. Потом стало тихо, тише тихого, страшно как-то. Вика бросил санки и с криком бросился в кабинет. Пока он бежал, животу и ногам стало страшно жарко; сладкая и неудовлетворенная



теплота томила и подымала; казалось, удовлетворишься она, дойдя до конца,—и он умрет, но умереть так—слаще, чем жить. Он ясно это запомнил, хотя бежал всего секунды три.

Первою он заметил маму, ужасную, хотя ничего в ней не изменилось: то же серое домашнее платье из мягкой фланели, те же гладко причесанные светлые волосы и белые, всегда будто только-что вымытые руки. Он еще раз закричал, раньше чем заметил лежащего на полу отца. Только тогда мать поглядела на мальчика и, казалось, еще больше испугалась, больший ужас на нее напал, чем до сих пор, пока она в упор (стояла, опершись миндальными руками о письменный стол, спиною к окну, волосы рыжеватились) глядела на такого странно неподвижного мужа. Вика не мог к ней броситься, уткнуться носом в колени,—что-то ему не позволяло. Вошел Назар (тогда уже старик); мать с гадливостью прошептала: «уберите его, Назар!» Оло-



вянные глаза лакея не могли блеснуть, но посинели. Вика не двигался, не воображая, что это он — «он», которого нужно убрать. Назар взял его за руку и увел. Мальчику показалось, что мать прошептала, «какой ужас» или «какая гадость». Но что он наверное заметил, так это то, что Марфа Михайловна подняла правую руку к глазам, посмотрела на нее пристально и быстро убрала за спину.

Он не был даже на похоронах отца. Позднее узнал, что Дерюгин застрелился. Были запутаны дела, меланхолический характер, с Марфой Михайловной, может-быть, не ладил. Вернее, что все вместе. Викентий Дмитриевич и матери не видел больше, вероятно, потому она так ему и запомнилась, какая она была в то утро. Вырос в Саратове у дальних и бедных родственников покойного отца. Мать, вероятно, хорошо платила за него. Вскоре она опять вышла замуж за Камышлова, о котором раньше Викентий



ничего не слышал. Когда вырос, посылки прекратились, или, может-быть, Диевы не отдавали их на руки Викентию, хотя с виду и казались людьми честными. От Саратова запомнил жары летом, морозы зимой, песчаную Лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги—Увеки. Казалось, что там всегда было солнце.

Встречи с матерью он не искал и не избегал их. Маленькая обида с детства осталась: он не мог простить ей, как она тогда сказала: «уберите его»!

Университет, занятия печальные и не совсем удачные литературой по маленьким журналам, потом военная обязательная служба,—все шло как-то мимо, не усиливая и не разгоняя общей меланхоличности, туповатой и спокойной.

Теперь, идя домой, он сам удивился, почему его так мало все интересует, и вдруг увидел, что, прожив почти тридцать лет, он ничего не испытал, никакого сильного чувства или волнения,—



и что до сих пор всего острее его пронизывает незабываемый голос матери: «уберите его, Назар!», и белая, только-что вымытая рука, медленно поднятая, которая, как живая, вдруг торопливо спряталась за спину в то серое, мартовское утро.



ВТОРАЯ ГЛАВА.

Викентий Дмитриевич прошел по Гороховой почти уже до Фонтанки, как почувствовал, что за ним кто-то идет. Он не был чрезмерно нервен, так что нужно было очень упорно следить за ним, чтобы он это заметил. Обернувшись, он увидел небольшого старичка с шаткой походкой и умильным личиком, одетого по-мещански, но чисто. Дерюгин остановился,—и старик уткнулся в витрину убогого часового магазинчика. В стекле Викентий разглядел оловянные



Старичек еще раз приподнял шляпу, тоже стоя шагах в трех от Дерюгина. Викентия толкают прохожие, и уже многие стали обращать на него внимание. Еще секунду и подошел бы городской.

— Не узнаете?— старик в третий раз приподнял шляпу.

— Да я вас и совсем не знаю!— отвечал Викентий, смотря во все глаза, но как-то рассеянно, на маленькое бритое лицо. Тот вдруг понизил голос и произнес конспиративно:

— Викентий Дмитриевич Дерюгин?

— Да я—Дерюгин, Викентий Дмитриевич, но все-таки не помню, где я вас мог видеть.

Он сам почему-то стал говорить вполголоса.

— Еще на Екатерининском канале...

У Викентия вдруг вылетело из памяти, какой такой Екатерининский канал, и он спросил с совершенной простотою:

— На каком Екатерининском канале?

Старик поморгал глазами и прибавил:



— Маленьким еще-с...

Дерюгину показалось так смешно, что он видел этого старика маленьким, что он улыбнулся, воскликнув:

— Ну, это вздор какой-то!

— Я—Назар, Полтинников... Назар..— запаматовали, Викентий Дмитриевич?

«Уберите его, Назар!»—вспомнилось Дерюгину, и все, все всплыло в памяти, особенно белые руки матери, которые она так быстро спрятала за спину.

Викентий покраснел и вдруг заторопился пожать руку лакею, который не смутился, а, наоборот, с большою готовностью вложил Дерюгину в ладонь свою маленькую горячую ручку. Дальше было совершенно неизвестно, что делать? Стоять на углу людной улицы было смешно и непроизводительно. Пошли вместе молча. Викентий Дмитриевич не понимал, чего от него нужно Назару. Тот семенил молча, стараясь попасть в ногу с довольно большими шагами Дерюгина.



— Жалко, нельзя никуда зайти выпить!—вдруг жалобно промолвил лакей.

— Пьянчужка! — подумал Викентий даже с облегчением, будто нашел объяснение странной навязчивости старика. Но тотчас отбросил и спросил не совсем кстати:

— Вас не Марфа Михайловна за мной послала?

— Что вы, что вы? голубчик Викентий Дмитриевич,—замахал-было руками Назар, захлебываясь, но вдруг соорудил хитрое и серьезное лицо:

— А зачем Марфа Михайловна послала бы меня за вами?

— Я не знаю...—печально уронил Викентий...—может-быть, в гости звать.

— Этого они очень желают, чтобы вы их посетили, но насчет того, чтобы с вами беседовал, они навряд ли были бы довольны... навряд ли...

Старик завяз совершенно. Дерюгину становилось как-то скучно. Вечер был тих и по-весеннему прелестен, так что



не хотелось никакой таинственности и осложнений, и Викентий почти только для приличия довольно равнодушно спросил:

— Так что от самого себя хотели разговаривать со мной?

Назар опять встрепенулся. И всякий раз, как он приходил в волнение, он словно удивлялся и терял способность выражаться. А, может-быть, он боялся что-то сказать, чего и скрывать ему не хотелось. Он так долго не отвечал, мелко трусая около Дерюгина, что тот даже забыл про свой вопрос и несколько испугался, когда Назар вдруг в самое ухо сказал ему:

— Самоважные тайны имею вам сообщить.

— Зачем? О ком?

Но старичек опять умолк. Так они дошли до Загородного. Прежде Дерюгину было скучно, зачем у Лизы Диевой будет народ и споры, но теперь этот лакей (Викентий почему-то думал про



него «дворецкий») так надоел ему со своими «самоважнеющими тайнами» и сморщенным личиком, что он был даже рад, что дошел домой.

— Может-быть, вы зайдете к нам? Мы здесь живем, а ходить я что-то устал.

— Конечно, устали... ножки не привыкли ходить так много. Хоть вы и носите солдатскую одёжу, но не привыкли, конечно... Где же вам, Викентий Дмитриевич, столько ходить!

— Так что же, зайдемте, Назар...

— Алексеевич...

— Назар Алексеевич.

— Назар Алексеевич, так точно.

Старик, словно спохватился.

— Зайти, говорите, к Елизавете Петровне, госпоже Диевой? Лестно и весьма желательно, но ведь там народ, суета...

— Это правда. Но мы можем пройти в мою комнату, там не будет никакого народа и никакой суеты.



— Верю, охотно верю, Викентий Дмитриевич. Да мне, собственно говоря, нужно было только вас посмотреть, какой вы человек.

— Разве это можно узнать, посмотрев на лицо..?

— И вижу теперь...—продолжал Назар, не слыша словно вставки Дерюгина...— что вполне возможно...

— Что же вы увидели?

— Что весь вы в батюшку.

— Да, говорят, я похож на отца!—неохотно подтвердил Викентий Дмитриевич.

— Вылитый Дмитрий Павлович!—восторженно выпалил дворецкий и даже приподнял головной убор. Дерюгин только сейчас заметил, что у Назара был огромный английский картуз в клетку, какие носят шофферы или молодые туристы.

Они уже несколько минут стояли у входа в шляпную мастерскую, над которым красовалась зеленая чистенькая



вывеска: «M-lle Nelly, мастерская парижских шляп и искусственных цветов», Викентий еще унылее предложил зайти, но дворецкий очень обязательно отказался и поспешно ушел, казалось, весьма довольный встречей с Дерюгиным. Молодой человек долго смотрел ему вслед. На углу старик обернулся и помахал ему ручкой, так что Дерюгину стало чего-то гадко и противно.

В квартиру Диевых, прилегавшую к мастерской, входили из-под ворот, чтобы не мешать мастерицам. Впрочем, в этот час работы уже кончились, и можно было, конечно, идти и с улицы. Но Дерюгин уже вошел в ворота. Через обитую клеенкою дверь слышались громкие голоса из передней, и не успел Викентий тронуть звонка, как дверь открылась прямо ему в лоб, вывалив небольшую брюнетку с полным бюстом, которая тотчас закричала внутрь хохлацким голосом:



— Ну, вот и они! Викентий Дмитриевич! Мы вас ждали, ждали! Остап, раздевайся, я вернусь на минуточку.

Потом уже Ксения Савишна Полоток (или Оксаночка) стала здороваться с Викентием, аппетитно пожимая ему обе руки.

М. Кузмин.



ТОЛЬКО НЕ СМЕРТЬ...

...«Вдруг лицо его стало как-бы
огненным...

Не ниспал-ли то с неба огонь?
Да... все огненно, огненно, огненно!!
И небесный далекий трезвон!
Неужели ты, Авва, отходишь от нас?
Небо открылось,
Солнце спустилось,
В свете сильнейшем померкли глаза
И в исступленьи открылись уста:
«Слава душе твоей восходящей»!
«Слава рукам тебя восприявшим»!
«Сомкнитесь уста, играй сладость
играй,
«Зацвела вдруг пустыня, как радостный
рай...
«Свете, Свете, все растворяющий,
«Просияй, просияй, просияй!!!»

И. Э в е р т.



У ПОРОГА.

Когда придет к тебе странник,
Распрости ему от звезды до звезды,
Руки свои, в святой этот час,
А затем, принеси и вина и воды
И прими его с глазу на глаз.

Когда придет к тебе странник,
Мотни головою от радости нежной,
Узри над головой его голубя снежного
И введи в свой таинственный дом;
Скажи... потрапезуем перед сном,
Прикурнув блаженно к груди.

И. Э в е р т.



ИСААК АНГЕЛ.

Исаак Ангел!..
Развернитесь, все звезды,
Как тогда,—
А я поклонюсь.
Борозды, взвейтесь в небо,
Как тогда,
А я..
Я рассмеюсь!
Раступитесь, виденья!
Пусть предстанет мне тень
В лазури бденья,
Как радости день!
Мне кажется,
Что он распашется,
Когда я скажу,
Исаак Ангел!
Я с тобой ухожу,
Я с тобой!..
Как вам кажется?...

И. Э в е р т.



СОФЬЯ-ДОРОТЕЯ.

На черном крыльце, в саду, рубили капусту.

Семеро девушек проворно снимали острыми ножами запыленные, грязные верхние листы и, разрезая головку пополам, бросали их на большой стол, откуда те падали уже в машину и, раскрошенные на какой-то своеобразный мелкий дождь, падали в наполненные до половины водой бочки.

Разговаривали о женихах, об отсутствовавших владельцах этого имения и о странном, будто бы слегка ненормальном пиро́технике-управляющем, — которого молодой хозяин, постоянно проживающий в Варшаве, за какие-то особые



заслуги прислал сюда, сместив прежнего.

В течение пяти месяцев своего пребывания здесь горбун устраивал почти каждый вечер род празднеств, сопровождая их торжественной иллюминацией... Деревья в саду увешивались малыми и большими китайскими фонарями, взлетали на воздух римские свечи, иногда в бричках, украшенных разными молниями, колесами и фонтанами, обезумевшие лошади увозили стремглав чудного горбатого управляющего, освещенного такими романтическими огнями, и визжавших от страха и восторга, а нередко и бившихся в истерическом припадке девушек.

— Нет, Зося, поверь моему слову,—говорила одна толстушка другой, очень маленькой девушке, еще казалось, подростку, с большими глазами, с расплоснутым носиком, одетой в такое широкое и мешковатое, что казалось даже не по росту, в крупных желтых по синему горошинах платье.



— Молодой органист — хороший хлопец! И у него есть деньги, и это так же верно, как то, что у пана Бартомея в голове не все дома...

— Ах, оставь, Рута!—отвечала Зося.— Не для меня только твой расславленный хлопец. Пусть он имеет деньги, но в состоянии ли он купить мне такой славный замок, какого я хочу, такие платья, золотом вышитые и украшенные камнями, какие имели одни королевы!

— Ах, ах! Зося—помешанная,—воскликнула подруга.—Ну, кто скажет про молодого органиста, что он некрасив? А чего больше нужно девушке? Ведь все замки и королевы были в старину, теперь таких нет. Так предполагается только, что девушки мечтают о королевичах, о славных замках... А посмотри: ведь все они в лучшем случае выходят за органистов, если не за пастухов.

— Это все, только не я,—очень заносчиво дала ответ Зося и поправила быстро свои льняные волосы, сползшие бы-



ло на ее сильно выпуклый, не маленький лоб.

Из-за угла дома появился управляющий; это был молодой, очень маленький, но довольно приятный своим чудаковато-насмешливым лицом горбун.

Занятый раз'единением проволочных колец на какой-то небольшой цепочке, которую в эту минуту он держал в руках, он приостановился, потом, почесав рыжую голову, и столкнув при этом зеленую фетровую шляпу на бок, крикнул:

— Ай, ай, Софья! Софья! Что загляделись на меня? Так порежете себе руку или колено и, увидев кровь, упадете в обморок; не приходя в сознание, еще, чего доброго, умрете; органист утопится в пруду, а нас введете в расход!

Все от неожиданности такого заключения рассмеялись хором, а маленькая девушка, к которой было сделано это обращение, беспомощно выронила из рук нож, и капустный кочан с ее колен покатился по склону замусоренного бугорка.



— Что вы говорите, эконо́м, какие там кастелянши из деревенских девушек?..— спрашивал управляющий уже высокого, красного человека в войлочной куртке, который бессмысленно созерцал работающих.

— Не знаю, г. управляющий, не знаю,— отвечал он.— Так хочет молодой барин...

— Ну, Софья!? Что? Вам в рот голубь влетел? Что остановились?— обратился управляющий опять и теперь слегка раздраженно к той же девушке, которая все сидела, не принимаясь за работу, и даже не отыскав ножа.

— Или вы разучились, как это делать? Он подошел к ней и, так как та оставалась все в прежней позе, поднял, нервничая, упавший в траву нож, взмахнул им над капустным листом и глубоко надрезал себе палец.

— Это нужно сейчас перевязать, г. управляющий, сейчас же, ножи грязные, иначе может сделаться антонов огонь...— ожив, засуетилась Софья.



— Странная, очень странная вы девушка. Завязывая только палец, наговорили тут мне, чего я даже не понимаю. У меня гудит в ушах от вашей трескотни. Кто вас не любит? Не понимаю, на кого вы жалуетесь? Что за превратная судьба! Вы кто,—дочь огородника или кузнеца?

— Софья-Доротея Леманьска!

— Да какое мне до этого дело?... Вот тоже!.. Да носи вы хоть дюжину имен! Я говорю, что вы—фантазерка и вряд ли из вас выйдет хорошая жена.

— Я и не собираюсь замуж! С чего вы взяли? Я...

— Что это за дерзкий тон прежде всего... А потом... Я уже знаю! Я слышал! Довольно! Принцесса с птичьего двора! Довольно. А... а! уже? Вот и слезы... Прошу успокоиться, миленькая девочка. Прошу успокоиться. Я сейчас, сейчас... где тут что у меня? Вот... керосин? Коньяк? Вода? Вот вода!!



Управляющий бегал по комнате и хватал все, что попадалось под руку.

— Ну, успокойтесь.. Вечером я вам покажу такой фокус... Специально для вас, специально для вас... Пейте воду! Вот вам коньяк, лакайте, лакайте! Вот здесь конфекты.—Разбогатеете! Ей Богу, разбогатеете. С такими блестящими способностями, чорт возьми, с такими хорошенькими руками... Не плачьте только!

Девушка уже приходила в сознание от истерического припадка, но пока еще сильно тряслись ее плечи, и горло издавало захлебывающиеся, жалостливые ноты. А управляющий, сидя в стороне, рассеянно говорил:

— Ты хочешь стать богатой? Но мечтай тогда о меньшем, потому что самое прекрасное в будущем тебе может показаться очень бледным... Мечты обыкновенно манят к тому, чего нет в целом мире... Запретишь разве мечтателю взрывать земной шар или сжигать солнце?



Но исполнимо ли это? Мечтать, девочка, надо разумно!

— Значит, я никогда не буду достаточно богатой?

— Совсем не значит.

— А,—робко-робко спрашивает и потупилась,—принцессой?..

— Будешь, чорт меня возьми, несомненно будешь, только желай для этого сделаться прежде графиней.

Распластав руки на зубьях низкого забора, стоял Богуслав, шестнадцатилетний сын эконома, мальчик с белыми льняными волосами, и, устремив на Софью-Доротею, маленькую, совсем, казалось, потонувшую в огромнейших складках своего синего с желтыми горошинами платья, не то серые, не то синие, глубокие глаза, слушал, что та говорила, сидя перед ним на почерневшей скамейке, отчаянно жестикулируя своими (почти уродливыми такими маленькими) ручками.



— Прежде всего мечтать надо разумно,—говорила Софья.— Не надо увлекаться. Правда, есть соблазнительные вещи, но надо себя превозмочь... А так что же? Взорвешь там солнце, зажжешь шар, и ничего из этого не выйдет. А надо постепенно... Я здесь пробуду недолго. Может, поеду в Варшаву, а то и за границу. Но ты, мой миленький, не бойся: я буду помнить о тебе везде. Я, как только разбогатею, выпишу и тебя.

— Нет, Зося, я не хочу,—тихо ответил мальчик.

— Мало ли чего ты не хочешь, — вот важность. Я тебя и не спрашиваю... Уж, пожалуйста! Я сделаю, что сама пожелаю.

— Зося, ты?.. Ты не хочешь, чтобы я тебя любил... Я больше никогда не поеду с отцом в город... Ты говорила, что в городе нехорошие девушки... Ты поэтому на меня злишься?... Я не буду больше целовать твоих рук. Только ты прости меня... Я не буду мучить...



— Не собираешься ли ты плакать? Вот еще!.. Брось, пожалуйста, это. Я терпеть не могу слез.. Вдобавок мужских. Слушай: я сделаю так, как пожелаю сама... Меня ожидают богатые дворцы, много золота (слышишь? Золото такое красивое, оно, как солнце, светится), духи и самые прекрасные... Много, много платьев.. Я буду сначала графиней, а потом принцессой.. Вот как... Ты пока останешься здесь и дожидайся письма. Ну, вот и все... А теперь,—закончила она неожиданно:—отправляйся домой.. Не целуй, пожалуйста, меня, а то сотрешь с меня пудру. Видишь, я напудрилась.. Это у панны Вероники я достала...

Ночь была будто бархатная, темная. Такой мягкий и не по осеннему теплый был воздух!

Пан Бартломей дал двоим парням по зажженному факелу, и все отправились за ограду к полю. Некоторые из дворни



несли еще бумажные фонарики на про-
волоках.

Всем все-таки скорее нравились фо-
кусы пана Бартломея. Управляющего,
несмотря даже на некоторый страх пе-
ред ним, все любили, за глаза подсмеи-
ваясь, конечно, но в глаза чуть-чуть улы-
баясь, даже покровительственно, и отно-
сились к нему с уважением. Всеми было
решено, что он—чудак и очень милый,
часто комически вспылчивый, но не
злой.

Его часто видели где-нибудь в саду
разговаривающим с самим собой или де-
кламирующим в эффектной позе какие-
то напыщенные стихи, или, наконец, раз-
думчиво урчащим себе под нос меланхо-
лические песенки, гуляя вокруг какого-
нибудь одного и того же предмета: де-
рева, избы или амбара

Остановившись на маленькой горе, пан
Бартломей, не выпуская из левой руки
цепочки, на которой дергалась в разные
стороны какая-то глупая, будто немая



собака, раскрыл ящик, переданный Софьей-Доротеей...

Факела и фонарики рождали только длинные и дрожащие тени, освещая слишком слабо сережки некоторых девушек или чьи-нибудь светящиеся глаза. Кругом суетились, то уменьшаясь, то разрастаясь до гигантских размеров, черные, серые и черно-малиновые пятна...

Пан Бартломей, тяжело дыша, кричал:
— Тише, тише... Твоя собачья морда... Сейчас побежишь, какое глупое животное! Стой...

Зашипел горящий порох, треснул и взлетел кровавый шар, взвиваясь выше и выше, закружился. Рассыпался изумительным крупно-рубиновым дождем... Пан Бартломей завывал захлебывающимся восторженным голосом на высокой пронзительной ноте:

— Ах, пся крев,—скорей, скорей, скорей!!!

В долину бежал визгливый язык зеленого, то колеблющегося так красиво, то



кружившегося пламени: будто собака вертелась, стараясь поймать зубами хвост...

С огромного черно-бархатного пространства веяла почти июльская теплота... Пахло селитрой, серой, одуряющим порохом... В воздухе, будто укутанном со всех далеких краев глухой ватой, доносился испуганный визг и жалобное скуление мчавшейся все вперед и вперед собаки.

Теперь высоко в далекое пространство взвился с гудением шар зелено-золотистого огня, снова треснул, там высоко, высоко, как размашистый гром в облаках, — и посыпался новый каскадный дождь волшебных изумрудов.

— Где ты, маленькая обезьяна?—Софья!.. Софья!.. Нравится тебе это?.. Ну, смотри!

Загрохотали теперь здесь колеса, завертелись, забрызгали, вытряхнули мохнатые зигзаги молнии.

— На, держи теперь, Софья, маленькую свечку... дай руки, побежим. А—а—а—а!!!



— Запомни: все, что будешь иметь, не твоим будет, но это ничего не значит. Мы приходим в мир, ничего не принося с собой, и уходим с разомкнутыми руками.. Все только проходит через наши руки и мимо.. Деньги?.. Ты их тотчас отдашь портнихе, ювелиру; он купит на них новые башмаки, следовательно, и у него они не останутся! Все здесь бrenно, зачем же так держаться за него? Трать, со спокойной совестью, дитя мое, эти кругляшки на духи, вина и платья; покупай камни, они будут занимать тебя, дадут минутную радость,—и все.. А хочешь спокойствия? Делай больше добра: только добрые дела бессмертны, только они принесут тебе долгий покой и наполненность.. Сознание, что ты совершила добро,—есть самое прекрасное счастье.. Ведь мы только прохожие, так оставим лучшие воспоминания здесь.

— Мне кажется, я все понимаю, и знаешь? Я полюбила тебя, пан Бартломей.

— Стой, обезьянка, стой..



Пан Бартоломей отогнул грубовато-мягко упавшую-было к нему на плечо опьяненную головку Софьи и, схватив в жесткие руки ее обе маленькие уродливые подушечки, обогрел их мечтательно (как показалось сї) огромными, чуть только теплыми губами..

— Ты не поняла меня. Все, что совершается здесь, ничтожно, хотя и очень красиво, и пленяет, и влечет. Но ты должна понимать, что пройдешь мимо всего этого.. Старайся же оставить что-то незыблемое, что-то, что имеет иную, долгую жизнь. Пусть окрепнет твое сердце и дух твой, и ты,—пусть сердце твое все любит и бьется миру, покою,—и ты всего достигнешь, только не грубо желай для твоих грешных замыслов.

— Софья!—раздался низкий мужской голос позади идущих управляющего и девушки.

И в темноте кто-то заградил им дорогу.

— Пойди вон! Прочь с дороги!—крикнула приказывающе твердо Софья.



— Пора домой, сестра, — уже значительно нерешительнее произнес тот же голос.

— Убирайся к черту! К черту!—закричал пан Бартломей и, держа в правой руке руку Софьи, левой взмахнул по воздуху.

О, поля!.. Новая Иоанна д'Арк прощалась со своей родиной.

Эта прохлада, в жаркий день, амбаров! Пыльный запах золотых зерен, рассыпанных в горы, темные заветные балки под крышами, где гоняются нежные, синие ласточки и серые, мохнатые воробьи...

Запах и чуть хрустящая мягкость быстро сохнущего сена, вкус сочащихся жирных груш, и желто-зеленый запах пахнувших сжатыми полями васильков и других полевых цветов!

Зося рано сегодня оделась в праздничное платье, --и новое, еще ненадеван-



ное, ломкое белье было так приятно неудобно.

Почему-то вчера она стащила у управляющего большое увеличительное стекло с серебряной ручкой и жгла теперь встрепанные, красные георгины... Курилось и воняло найденное на дороге куриное перо, а Зося этот его запах вдыхала с сладким прощальным млением сердца, мечтая о будущем. Куда она поедет? Ведь ей никто ничего не говорил об этом.

Теперь дымилось сено, на солнечном свете разрослось только какое-то рыжее, ржавое пятно, и вились нежные струйки еле видимого, легкого молочного дыма...

Она думала о непередаваемом чудном очертании Богуславовой головы с ее мягкими, как беличий пух, такими светлыми, как эти молочные струйки, волосами. А глаза... она всматривалась в глаза... их ультрамариновое дно обещало какую-то самую удивительную небесную



любовь, на какую никто, кроме этого мальчика, не был способен.

Но не надо долго думать об этом, а то все превратится опять в самую обыденную, глупую жизнь. Прохлада амбаров станет только прохладой, а глаза Богуслава самыми обыкновенными глазами...

Но почему ей вдруг так жарко, страшно жарко? Ах!.. Сердце остановилось... Ведь горит сено!

Бежать, бежать!

А здесь горел барский дом. Пылала крыша и вокруг сухих потрескавшихся колонн обвились, будто трепыхавшийся ветер, желтые шелковые гирлянды.

Пан Бартломей, босой, в нижнем снежном белье, прыгал, как дикарь, вокруг костра и кричал:

— Все сгорит! все до тла! Ничего не останется... Так всегда бывает. Огонь быстрее плотников!



— Господин управляющий, горят и амбары... как странно...

Пан Бартломей подхватил:

— И амбары, и амбары.—Все сгорит! Я ведь говорил, что все сгорит, но... бедная обезьянка... Смотрите, она бела, как полотно, и не дышит. Скорее воды...

Вечером того же дня управляющий и Софья-Доротея отбыли в Варшаву...

Пан Бартломей сначала отказывался взять ее с собою, но когда узнал, что родители девушки противятся ее отъезду и хотят ее силою оставить у себя, он предложил Софье спрятаться в большой чемодан и отправил его раньше себя на станцию.

— Но помни, дитя мое,—как только мы выйдем из вагона в Варшаве, — говорил он ей,—я тебя больше не знаю, а ты меня. Хорошо? Согласна ехать на этих условиях?

Софья ответила утвердительно.



При выходе из вагона Пан Бартломей поскользнулся на ступеньках и упал прямо в объятия какого-то приветливого человека в форме.

— А, пан управляющий! Доброго здоровья! Счастливо приехали? — и приветливый человек, приняв испуганную руку Зоси, помог ей сойти на платформу.

— Новая кастелянша для нашего барина, не так ли? Я не ошибаюсь?

«Приезжай, мой милый, милый Богуслав»,— писала Зося. Я «здесь ношу чудесные платья, у меня на пальцах много прелестных, дорогих колец. Каждое утро я пью душистое, крепкое кофе. А вокруг меня духи. Я тебя устрою здесь, ты не беспокойся, только ложись на меня и верь мне. Мы узнаем с тобой здесь прекрасную жизнь.

«В Варшаве высокие, высокие дома, улицы вымощены чистыми деревянными кубиками, по вечерам здесь так чудесно



светятся окна, на улицах светло как днем. Ах, ты еще не знаешь, что такое театры! Но приезжай во что бы то ни стало,—я повелеваю. Я тебе приказываю! Слышишь? Непременно, непременно.

«Люблю тебя, мой милый, милый. Целую твои хорошие, хорошие глазки».

Софья-Доротея Леманьска.

Ю р. Ю р к у н.



Твоя грудь разве выдержит сумасшед-
шего сердца удары?
Сердце выдержит ли такую любовь?
Душно от тайного темного пожара,
В висках бьется беззвучная, бессонная
кровь.

Разбилась бы от крепкого сердца-та-
рана
Самая мудрая, самая китайская стена,
Но вот пробита, вот ширится горячая
рана,
Немыслимая взору открывается страна.
Там звон, там трепет крыльев и небо,
Оранжевые в черном заливе паруса,
Обыкновенное солнце стало победным
Фебом,



КУПАНЬЕ.

Конским потом,
Мужеским девством
Пахнет тело
Конников юных.

Масло дремлет
В локонах вольных.
Дрогнул дротик,
Брякнула сбруя.
Лаем лисьем
Лес огласился,
Спарта, Спарта—
Стены Латоны!

Песок змеится плоско,
А море далеко,
Купальная полоска
Маячит высоко.



На сереньком трико
Лиловая полоска.

Лаем лисьем
Лес огласился.

Английских спин аллея.
Как свист: «How do you do»?
Зарозовела шея
На легком холоду.
Пастух сопит в дуду,
Невольню хорошея.

Спарта, Спарта!
Стены Латоны!

Румяно руки всплыли,
Султанский виноград.
Розовоцветной пыли
Разбился водопад.
О, мужественный сад
Возобновленной были!

Спарта! Спарта!

Май 1921 г.

М. Кузмин.



ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ.

Виктору Шкловскому.

Звонок
Гонг
Бонз.
Бронза.
Мирен
Мерный
Кумирен
Строй.
Зной
Коварным
Грузом
Тянет
Мудрость
Бренную
Ко сну.
Ладан
Лаковых



Курильниц
В дымном
Держит
Страсть
Плену.
Небо
Шелково.—
Скитальцы,
Пусть
В Китае
Скинут
Грусть!
И с китайскими
Людьми,
Головой
Кивая
Годы,
Ждут
У пагоды
Погоды
И косы
Китайской
Смерти.

Б. Папаригопуло.



ВАСИЛИЙ МАКЕДОНИЯНИН.

М. А. Кузмину.

Золотые раскрылись Ворота.
Повеяло пылью дальних дорог.
Отрок, строен и строг,
В Золотые входит Ворота.

Мозаичные лики величавых царей.
Закатный пурпур одежды. Кто же
Ты, непохожий ничем на царей,
Странный прохожий?

Камни. Конских ристалищ вихрь.
Солнца храмов—купола золотые.
Вот она, ересей душный вихрь,
Византия! О, Византия!



Нищий отрок у Царских Врат
В странном восторге лег, обессилив.
Не люди, не звери—патмосский закат
Раскинул пламя серафимских крыльев.

И трижды Господень гонец возгласил:
«Вставай, запоздалый, усталый странник,
Строптивый конюх, прекрасный Василий,
Василевс византийский, Господень
избранник».

Б. Папаригопуло.



ПОХОД.

Ярче трубных звуков
Брызжут лучи солнца,
Рыжеет ржавый песок,
Пепел Царей и Царств.
Длинный список
Дней и деяний лучших,
Не наших.
Чаша с водою мутной,
Выплеснутая великим Македонцем
В угоду
Строптивой славы.
Спутник,
Нестерпимо прекрасный,
Пей
Из ладони моей
Теплую, терпкую воду.
Вот, я отдал тебе все мое достоянье.—



Еще не скоро стоянка,
Не скоро отдых и конец нашему походу.
Но так же горд на стяге полет орла,
Хриплые победно взмываются крики из
горла

И по прежнему страны чужих народов
Попираются беззаконно
Стройным строем
Римского легиона.
Спутник, что наши ничтожные беды,
Жертвы и жажда?

— Не укрыться щитом от зноя.
Неразлучные, вместе сгорим,
Я и ты со мною,
На костре победы.
Которую ждет
Великий,
Далекий
Рим.

Б. Папаригопуло.



В ПУСТОТЕ...

Про Херсон скажу мало: «смотри Энциклопедический Словарь». Продукты дешевые, но цены уже небось переменились. Молоко густое. Город жаркий. Днем никто не гуляет, ночью ходить запрещено. Гулять можно, значит, только часа два. Вываливает весь город на уже темную улицу. Мужчины одеты в платья из мешковины, женщины побелей, все почти в деревянных сандалиях! Тьма улицы увеличивается густыми тополями.

Женщины видны как смутные пятна. Ну, конечно, река в городе, за рекой плавни.

Врангель пришел внезапно. Я был за рекой в Алешках... А за Алешками степь до Крыма... Городок никакой.



Раз утром увидел, что начали свертываться лазареты, потом появились стада, которые гнали красноармейцы... Гнали быстро. Пароход перестал ходить в Херсон... Начали грузить баржи... Никто не говорил ничего, но чувствовался отход... отход... и что вот начнется бегство.

На пристани комиссары ссорились из-за лодок и угрожали друг другу оружием... Жались к реке...

Я достал с трудом лодку, отчалил не от пристани, а из болота и поехал в Херсон. К вечеру Алешки были заняты раз'ездом.

Если бы кто-нибудь подумал о том, как развалился красный фронт на Перекопе, и как внезапно врангелевцы растеклись по степи, то было бы ему трудно понять что-нибудь...

Никто ничего не думал.

Город был уверен во взятии, войск не было. Об'явили мобилизацию профсоюзов. Большевики и эс-эры об'явили



партийную мобилизацию. Я встретился со старыми товарищами по первому Петроградскому Совету и пошел по мобилизации меньшевиков. Собралось нас человек пятнадцать, из них ни одного рабочего. Эс-эров было человек десять, из них рабочих человека два. Оставил я жену в больнице (она была сильно больна), и на телегах поехали мы куда-то, куда нас послали, верст за двадцать от города.

Ехали.. Ехали... Степь.. По дороге встречаем огромные телеги, полные евреями, уходящими от погрома в еврейскую земледельческую колонию «Львово».

Они шли от будущего погрома.

Нигде не чувствуется война.. Войск не видно.. Мосты не охраняются..

Приехали в деревню Течинку и стали здесь по халупам. Деревня большая, улица широкая. Вечером ротный командир катается на бричке тройкой..

Расскакавшись, лошади могут повернуть на улице некрутой дугой и снова скакать назад.



Перед нашей деревней развалины турецкой крепости, на полуострове стоит она, а за рекой другая большая, большая деревня «Казачий лагерь», белая деревня, т. е. белые в ней стоят. И церковь белая, и хаты. И у нас церковь белая и белые хаты.

Одним словом, ни по климату, ни по народонаселению правый берег не отличался от левого.

Пустота.. Каменные бабы у церкви, распаханые курганы в степи... Зной... У реки прохладно...

Не чувствуется война... Тихо, пусто, пусто. В пустоте бьет наша пушка по белому берегу... Главные действия ожидаются правей, в Каховке...

Пустота, и в поле нет никого. Нет в поле людей, и не на чем им в поле работать: мы забрали всех лошадей...

С того берега ночью пришли белые: крестьяне переправили верстах в двух от деревни и подводы приготовили...



Белые вошли в деревню с двух сторон; наши (наши, наши) спали по халупам. Проснулись, стали стрелять и те стреляли... Потом оказалось, что белые друг в друга стреляли: уж слишком хитро подошли... постреляли и ушли за реку. Одним словом, ни по климату, ни по народонаселению правый берег не отличается от левого.

Крестьяне перевозили с берега на берег белых, они нас не любили. Мы занимали их избы, ели их хлеб. И, вообще, зачем нужны крестьянину эти войска, которые проходили через его деревню как ветер сквозь рожь.

Позже, из теплушки, когда ехал раненым, видел крестьянское восстание... Из деревни стреляли, кажется, по поезду, потому что звенели телеграфные провода там, где не были повалены столбы. Из вагона было видно, как наступают правильным полукольцом на деревню солдаты, прячась за снопы... Фронт редкий, поле широкое, и казалось, что



итти им так через всю широкую Украину—редкой железной граблей по воде..

Нас было мало—«батальон», а в батальоне было человек полтораста и два пулемета, да винтовки не у всех.. Пушки стреляли сами по себе.

Охраняли мы берег верст на 25—30. Ночью ходил в разведку.. Тонули в реке в дырявой лодке.. Потом попали на плавне в молчаливое стадо коров, которые белели во тьме, как платья херсонских дам вечером на главной улице.

Сапог нет, деревянные сандалии, ноги скользят в них от росы.. Зашли далеко.. у солдат Леменовские бомбы, с которыми они не умеют обращаться, да и терок нет.

Запутались, не нашли неприятеля. Потом потеряли друг друга.. Темно.. «А» кричать нельзя.. Натыкаешься на теплых приятных коров. Земля сырая.. Тростник, подрубленный прошлой зимой на топливо, остер, как битые бутылки.



Выбрались на берег. Всех нет... Считали—двух нет. Ждали до утра, искали... Уехали обратно по розовой воде... Дул ветер, уже теплый.

Двое оставленных приплыли на другой день на связках камыша.

Стояли мирно. Наша компания тосковала. Книг нет. Народ молодой попался, больше студенты-первокурсники. Один только был уже старый еврей-меньшевик, который все хотел уйти к коммунистам и решил все же мобилизацию отбыть с нами. Когда потом ему пришлось брать «Казачий лагерь», он шел и в окопе сидел, только нервничал ужасно и все бежал всех будить, казалось ему, что спят... Солдаты все больше петербургские... Разговор про Петербург... Вспоминают, обратно хотят... Вечером поют на мотив «Спаси господи» «Варяга». Многие были и в Венгрии, и в Германии, и в Сербии даже и все те же, и вечером поют «Варяга». Коммунистов почти нет, и мобилизованных почти не



видать. Которые есть, те жмутся в кучку.

Меня вызвали в Херсон формировать подрывной отряд. Поехали вместе с арестованными. Ехало нас четверо: толстый, большой человек, начальник здешней милиции, арестованный за то, что у него при обыске нашли ковры, граммофон, 25 фунтов иголок, а обыскали его за то, что оказался он бывшим полицейским. Вообще его арестовали. Когда его увозили, плакали над ним отец и мать как над мертвым, и брат его приходил и говорил все что-то нашему командиру стараясь отчетливо шевелить белыми губами. Второй арестованный был мальчик дезертир, вернее задержавшийся в отпуске. Конвойный один с винтовкой, и мне шомпол дали, чтобы и я охранял.

Одет я был в парусинное пальто сильно в талью, в парусиновую шляпу с полями, в деревне ее называли шляпкой, и вид мой запомнился кругом верст на двадцать, сам слышал, как рассказы-



вали, и еще больше увеличило мой вид тягостное недоумение деревни перед городом.

Конвойный утешал арестованного, а когда тот отворачивался, подмигивал мне на мушку винтовки,—расстреляют его там. Я думаю, что расстреляли. Сидел этот толстый человек (арестованный) на телеге и говорил благоразумные слова о том, что его напрасно арестовали, и обидеться старался, и был испуган, а не бежал.

А я не понимал почему он не отнял от маленького конвойного ружья и не убежал от нас к белым или просто в степь..

Недоуменное дело.

Приехал в Херсон. Потолкался в штабе. Очевидно боялись отхода, и подрывники нужны были для отступления.

Приехал тоже вызванный с фронта эс-эр Минкевич, который прежде был саперным офицером, и мы вместе стали собирать отряд.



Стояли мы за городом, в старой крепости, ученье производили во рву.

Собрали мы маленькую горсточку солдат и начали их обучать.

Динамита нет, подрывных патронов нет, провода тоже нет и пироксилина нет. С трудом достали разный подрывной хлам и начали его подрывать на-авось. Занятие подрывника странное. К взрыву можно привыкнуть, даже скучно, когда его нет.

Взрыв приятное дело. Из земли выходит большое плотное дерево, туго набитое дыбом... стоит... потом вдруг просыпается на землю дождем камней. Если лежать недалеко от горна, то в глазах скачут красные мальчики.

Жили тихо. Раз только, взрывая деревянный мост, спалили его по ошибке; солдаты работали на пожаре отчаянно, на некоторых стлело платье, хотя они и окунались поминутно.

Было досадно, мы хотели сделать все аккуратно, а мост сгорел. Очень огор-



чились солдаты, они могли бы взорвать весь город, не огорчившись, а здесь ошибка техническая. Они страдали над нашим техническим преступлением...

Раз чуть не взорвались все.

Производили учебный взрыв, да за одно и уничтожили брошенные с белых аэропланов и не взорвавшиеся бомбы.

Бомбы бросали белые каждое утро....

Спишь... семь часов утра. Слышно жужжание и звонкий звук, похожий на удар мяча о паркет пустого зала.

Это была бомба.

Значит, уже нужно вставать и ставить самовар.

А иногда обстреливали город.

Как странно выглядит пустой солнечный город, когда по каменным мостовым его прыгают весело звеня обрывки снарядов. И звонким редким барабаном в нем самом слышны отвечающие батареи... Бабы за-балки (пригород) у себя поставить батарею не позволили



Мы уничтожали бомбу. Решили обставить дело торжественно.. Закопали ее рядом с пудом тропила (псевдоним какого-то норвежского взрывчатого вещества, которое мы нашли в складе), бикфордова шнура не было.

Вставили в тропил запал с немецкой бомбы, а к кольцу запала (в сущности говоря, не к кольцу, а к чеке) провели шнурок.. Сели за гору, потянули шнурок... притянули весь запал к себе... Пошли, укрепили его камнями (ничего нет), опять потянули, вытянули чеку к себе.. Прошло три секунды.. Тихо.. Провинциально.. Небо над нами и белыми голубое... Нет взрыва.

Хоть это и не по уставу, пошли всем скопом смотреть, что произошло.... Я и Миткевич впереди, солдаты сзади. Подошли довольно близко. Вдруг мне говорят... Шкловский! Дымок!

Действительно запал пускал легонький дым как от папиросы.



Без ног прыгнул вперед вырвал из тропила запал и отбросил его на несколько шагов.

Слабый взрыв... взорвался запал еще в воздухе.

Сел на землю.

Над чепухой России и нашей маленькой ротной чепухой, над нашим тротилом, из которого мы устроили сами себе западню, плыли и должно быть кувыркались от радости, что плывут мимо облака....

Взорвался я позже.

Достали мы какие-то цилиндрики, весом в полфунта.

Для запала много, для патрона мало.

Оставлены были эти штучки не то немцами, не то французами.

Решили испытать. Запалы нам были очень нужны.. Пытались сделать сами, но было не из чего, а тут ждался отход.

Наши (правый берег) ходили отбивать Алешки...



Из города, который весь на горе, был виден бой... Выглядел он странно...

Стоят среди плавень два парохода и дымят....

Входили в Алешки, но были выбиты.

Погибло много матросов из прибывшего отряда; спасшиеся прибежали обратно без сапог и бушлатов.

Маневрировать мы не умели совсем.

Нужно было готовиться к взрыву станции и мостов.

Я пошел один к оврагу пробовать: запалы ли эти цилиндрики или нет.

Пришел. Лошади недалеко стоят в тени дома. Мальчик где-то виден вдаль.

Взял кусочек бикфордова шнура, отрезал на три секунды (срок, обычный для ручной бомбы) и начал вводить его в отверстие на дне патрона.

Отверстие велико. И вообще странный вид, не похоже на патрон, совсем не похоже.

Обернул шнур бумагой, вставил.



Зажег папиросу и, думая о ней (не умею курить), поднес огонь к шнуру.

И сразу взрыв наполнил весь мир, меня опажнуло горячим, и я упал и услышал свой пронзительный крик, и последняя мысль о последних мыслях вырвалась и как-будто была последней.

Воздух был туго наполнен взрывом, взрыв гремел еще, я лежал на траве и бился, и кровь блестела кругом на траве, разбрызганная кругом дождем маленькими каплями, сверкающими и делающими траву еще зеленей.

Я видел свои ноги, развороченные через ремни деревянных сандалий, и грудь всю в крови, лошади неслись куда-то в сторону.

Я лежал на траве и рвал руками траву.

Как-то очень быстро прибежали солдаты...

Они догадались, что «Шкловский взорвался».

Послали телегу. Громадный Матвеев, силой которого гордился весь отряд



поднял меня на руки и пошел; под голову мне положили мою шляпку.

Другой солдат Лебединский сел на телегу и все щупал мне ноги с испуганным лицом.

Я дрожал мелкой дрожью, как испуганная лошадь. Прибежал Миткевич, бледный и перепуганный. Я доложил ему, что предмет оказался запалом. Есть правила хорошего тона для раненых. Есть даже правила, как нужно вести себя, умирая.

II.

Госпиталь хороший.

Я лежал и дрожал мелкой дрожью.

Дрожали не руки, не ноги... тело на костях трепетало.

Я лежал, замотанный в бинты до пояса с грудью, стянутой бинтами, с левой рукой, притянутой к алюминиевой решетке. Правая нога плохо пахнет: чужим, не моим запахом порченного мяса.



Пришел старый хирург Горбенко, про которого раненые рассказывали чудеса; пришел, потрогал пальцы, висящие на коже, и не велел отрезать, говорит: «приживут».

Они и прижили.

Приходили товарищи солдаты, приносили солдатские лакомства; мелкие одичавшие вишни и зеленые яблоки.

Сады в окрестностях были реквизированы, ход в них через забор, никто не берет фруктов, но абрикосы уже сгнили, а яблоку было еще не время.

Солдаты любили меня. Я вечерами занимался с ними арифметикой; это помогает во время революции от головокружения. Сейчас они чувствовали ко мне благодарность за то, что я взорвался первый и был как-будто искупительной жертвой. Пришел Миткевич. Это был учитель, из правоверных эсэров, очень хороший и честный и жаждущий дела человек. Дела не было... Война и партийная мобилизация, которую он сам



провел, дала ему дело, и он был влюблен в свой отряд любовью Робинзона, нашедшего на 18 году пребывания на острове белую женщину.

Он сказал мне, что в рапорте написал: «...и получил при взрыве ранения числом около двадцати». Я подтвердил эту цифру... Все было как в лучших домах. Приходили студенты меньшевики; они были в унынии; при отступлении от Казачьего Лагеря перевернулась лодка, в которой был их лидер, Всеволод Венгеров, они искали его и не могли найти.

Да и сами они измучились от бесплодности командования и суровой жизни рядового без привилегий (они были у меня в отряде, и Миткевич прижимал их основательно).

Скоро у меня по палате оказался сосед. Сосед этот инвалид с ногою, уже давно отнятой по бедренный сустав. Сейчас он жестоко ранен в рот с повреждением языка, в грудь и в мошонку. Когда ему вспрыскивали камфору или вливали



физиологический раствор соли, он мычал голосом сердитым и бессознательным. Было жалко видеть его громадное тело, красивые руки и красивое обнаженное плечо, и знать, что тело уже изуродовано ампутацией. Мне о нем рассказала его родственница, сейчас дежурящая над ним; она была старшей сестрой этого же лазарета...

Фамилия раненого была Горбань.

Он был прежде эс-эром, жил на ка-торге, его там много били, но убить не успели. После революции он вернулся в Херсон, где раньше был кузнецом.

Во время оккупации убил кого-то, стоявшего за немцев, схватив его на улице и унеся к своим (кто были ему свои в то время, не знаю) на расстрел.

Немцы арестовали его и везли на пароходе; он вырвался от них и уплыл, хотя его и ранили. Во время какого-то восстания его ранили в ногу; врача не было; когда достали, было поздно. Ампутировали, потом еще раз, потом еще раз.



Горбенко качал головой, когда смотрел на следы последней операции.

Одноногим Горбань принимал участие в защите Херсона от немцев.

Я тороплюсь к этой защите...

О ней рассказывали мне в лазарете почти все.

Но нужно сказать, как попал Горбань раненым в лазарет.

Он был большевиком преданным и наивным, работал по землеустройству. Поехал по деревням с агрономом. Поссорились в байдарке (тележке). Я думаю, что у Горбаня был не легкий нрав. Агроном выстрелил в него в упор, но прострелил только челюсть и язык, да обжег щеку, потом выбросил раненого из байдарки и выстрелил еще два раза, попал в мошонку и грудь.. Уехал.

Раненый лежал на дороге, мимо ехали крестьяне с возами по собственному делу, не подбирали.

Быть-может, даже не из вражды, а так—«в хозяйстве не пригодится».



Лежал весь день на солнце..

Потом подобрала милиция.

Привезли в лазарет.

Мы (я и сосед) поправились как профессионалы быстро.

Горбань уже ругался.

Я вставал, хотя пальцы еще гноились, и тело было покрыто опухолями вокруг невынутых осколков.

Приходили люди, рассказывали. Вспоминали. И вот краткая повесть о защите города Херсона от немцев безначальным войском в году 1917.

После того, как солдаты ушли с войны, они вернулись по домам.

Вернулись и в Херсон.

Работы не было. Городская дума придумала что-то в роде «Национальных мастерских».

Срывать валы за городом.

Солдаты срывали плохо. Ссорились...

Угрожали захватом города.

Предводительствовали ими какие-то люди, про которых почтенные го-



рожане говорили, что это были каторжники.

Кажется, это никем не оспаривалось. Один из каторжников был из беглых румынских попов. Дума была недовольна работой демобилизованных..

Решили просить немцев занять город. Немцы пришли и заняли город, но их пришло мало, и демобилизованные их прогнали, а потом пошли бить думу. И избили бы на смерть, но в думе кто-то догадался, достал ключи и вынес их на блюде к нападающим как «ключи города».

Нападающие растерялись.

Они про это что-то слышали, не знали как ответить на этот «организованный шаг».

Никого не убили и взяли ключи.

Каторжники ездили по городу в количестве трех и преимущественно по тротуарам. Но о них скоро забыли.

Немцы обложили город.

Город стал защищаться.



Защищали и солдаты, и почти все горожане, даже те, может-быть, которые сочувствовали в свое время думцам, вызвавшим немцев против каторжников.

Сделали окопы и защищались.

Херсон стоит в степи. Не подойти украдкой к Херсону.

Ночью не было почти никого в окопах. Разве какой мальчишка стреляет.

А если неприятель наступал, то пускали по улицам автомобили (кто их посылал, не знаю), а на автомобилях были люди с трубами, и трубами.

А услышав трубы, жители бежали на окопы и защищали город.

Дрались так 2 недели.

Горбань, уже одноногий (впрочем я путаю все; рассказ этот, который я слышал, относится к более позднему времени, например, к эпохе Скоропадского) командовал отрядом конницы, а чтобы он сам не выпал из седла, его привязывали к лошади, а сбоку к седлу при-



кручивали палку, чтобы было ему за что держаться.

Держался Херсон две недели.

К концу защиты подошли из-за Днепра на возах крестьяне, думали помочь... Посмотрели, уехали,—«не положительно у вас все устроено, а нам нельзя так, с нас есть что взять, мы хозяева», и ушли за Днепр.

Наступали на Херсон сперва австрийцы, сдавались как умели.

Потом подошли немцы—дивизия.

Нажали... Еще раз нажали и взяли город.

Фронтвики заперлись в крепости... и крепость взяли...

Стало в городе спокойно.

Никто не ездил по троттуарам.

А если кто держал винтовку в доме, и найдут ту винтовку, то дом сжигали.

А вокруг города были повстанцы.

Вот и вся защита Херсона, как рассказали мне ее, многие люди, солдаты и доктора, сестра милосердия и студенты...



И сам Горбань, когда язык его поправился, даже раньше: ему очень хотелось со мной говорить.

И мне он нравился, знал я, что он резал поезда с беженцами и жену ругал, когда поправился.

И про себя говорил (мы долго еще с ним пробыли, и эвакуировали нас из города в город вместе).

Так он говорил... «И я кулачек... я с братом и отцом хутор имею, все хозяйство сам завел, сад у меня какой, хлеба у меня сколько, приезжай ко мне, приезжай, профессор, как кормить буду». Профессором он меня сделал от восторга.

Виктор Шкловский.

Извиняюсь, что фамилия доктора—Горбенко похожа на фамилию раненого—Горбань, но ничего сделать не могу, так и было.